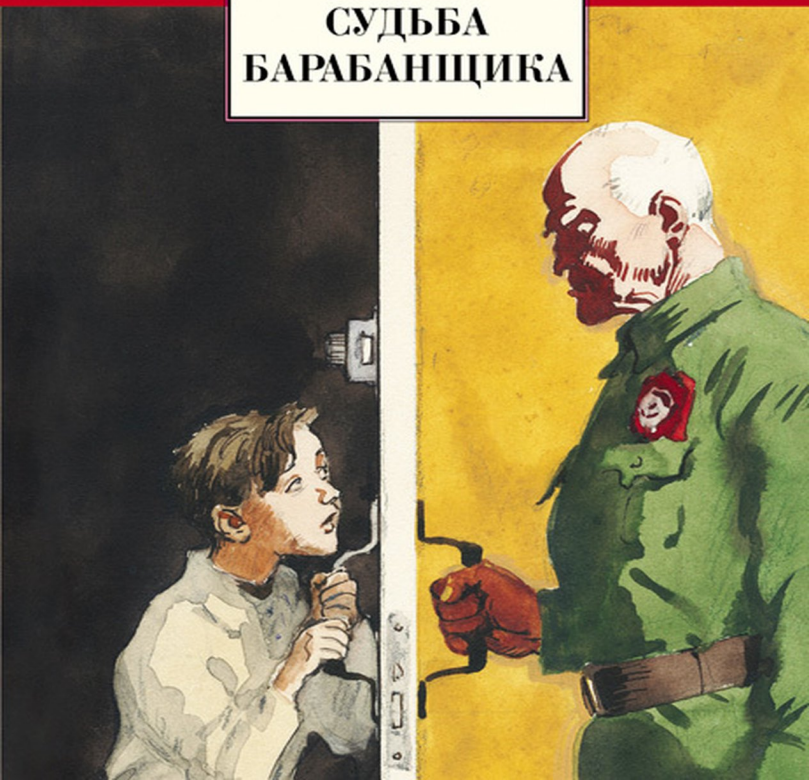
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Аркадий Гайдар

СУДЬБА БАРАБАНЩИКА



Судьба барабанщика
Аркадий Гайдар

Аннотация
Аркадий Петрович Гайдар. Судьба барабанщика. Повесть
И все-таки – впереди!
Автобиография
Судьба барабанщика

Аннотация

О своей повести «Судьба барабанщика» А. П. Гайдар писал так: «Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных – не меньше, чем сама война».

Для среднего школьного возраста.

Аркадий Петрович Гайдар
Судьба барабанщика
Повесть



1904 – 1941

И все-таки – впереди!

О Гайдаре писать нынче трудно. Резко изменилось время, изменились и взгляды людей. Один из роковых вопросов советских анкет: «Что вы делали *до* 1917 года?» — позже сменился противоположным: «Что вы делали *после* 1917 года?»

Гайдару уже бросали ряд неприятных упреков в таком духе: зачем он в 1918 году ушел воевать «за светлое царство социализма»[1] зачем в 1921-м участвовал в подавлении Антоновского мятежа на Тамбовщине, где власти воевали с собственным народом по-бандитски — без всяких правил; зачем, наконец, в 1922 году, воюя в Хакасии против «императора тайги» атамана Соловьева, он был жесток — на допросах применял пытки, избиения пленных и т. п. (Правда, насчет последнего обвинения — дело темное: документов никто из обвиняющих не представил, а воспоминания типа «одна бабка сказала…» — это не документ и не аргумент.)

---

[1] Примечания: 1

Строго говоря, это выражение не гайдаровское. В повести «Школа» (1930) оно встречается на рабочем плакате: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Думается, однако, что Гайдар не растерялся бы от таких вопросов, не стал отрекаться от своего прошлого и ответил бы на все вопросы «прямо, честно и открыто», как и во всех других случаях. Он сказал бы, наверно, что смешно спустя столько лет обвинять четырнадцатилетнего подростка[2] в том, что он делал в году 1918-м… А делал он тогда то же, что и другие, — участвовал в Гражданской войне… А Гражданская война — что во Франции, что в США, что в России — нечто кровавое, тяжкое и далеко не всегда справедливое. И лучше бы в ней вообще не участвовать, да вот не получилось…

Насчет подавления тамбовского мятежа Гайдар, наверно, ответил бы так: «Не я затеял эту войну, не из-за меня она началась; а я был военный, командир полка, мне дали приказ — ну как же я мог отказаться? Не дезертиром же мне было становиться — я всегда презирал дезертиров; загляните хотя бы в мою повесть „Р. В. С.“…»

Наконец, о войне в Хакасии Гайдар, скорее всего, отозвался бы так: «Я и сюда прибыл по приказу

---

[2] Примечания: 2

Наверное, не случайно герою повести «Школа», Борису Горикову, когда он бежит на фронт, уже пятнадцать лет, а не четырнадцать, как было в аналогичном случае Аркадию Голикову. Видимо, Гайдар понимал, что даже для того времени четырнадцать лет — малоподходящий возраст для участия в Гражданской войне.

— отказаться не мог… Что же до соловьевцев, то это были бандиты… Не знаю, что сделало их бандитами: может, революция, может, неудачные декреты советской власти, а может, бездарное их применение, — но в этом не я виноват. Факт тот, что я застал их бандитами, — а с бандитами не воюют в белых перчатках, с применением дуэльного кодекса… Возможно, я где-то и переступил „пределы допустимой обороны“ или „допустимого нападения“, но нарочно жестоким я не был — вы это знаете по моим книгам».

Хотя Гайдару эти слова только приписаны, по сути, они вполне правдивы. Давно известно: «Истинная жизнь писателя — в его книгах».

Да и «социализм» Гайдара был вовсе не тот, что строился в СССР под руководством Ленина и Сталина. Это видно уже из того, что Ленин во всех книгах Гайдара появляется всего трижды: в повестях «Школа» и «На графских развалинах» — только упоминается, а в крохотном рассказике «Советская площадь» (1940) изображен весьма странно: рассказчик (скорее всего, сам Гайдар, ибо рассказ автобиографичен) слушает (вернее, пытается слушать) Ильича, выступающего с балкона Моссовета, а его собственный конь мешает ему слушать: то храпит, то фыркает, то на дыбы

встает… Так и не услышал Гайдар ни словечка из ленинской речи, да и мы ничего о ней не узнали, хотя сам же Гайдар говорит, что люди ему потом эту речь пересказали… Видимо, не очень-то она его заинтересовала.

Ну а Сталина вообще не найти ни в одном из гайдаровских произведений[3]. И это в 1930-е годы, когда без имени Сталина не обходилось ни одно собрание, не произносилась ни одна речь, не говоря уже о докладах, — да вообще не делалось ни одно сколько-нибудь серьезное дело…

… А где хватит на двух разговорца,
Там помянут кремлевского горца, —

говорится в знаменитом — поистине роковом для поэта! — стихотворении О. Мандельштама.

А Гайдар прекрасно обходился без этого имени. Даже в отклике на получение «высокой» награды (для Гайдара, впрочем, не слишком высокой) — ордена «Знак Почета», полученного в 1939 году — юбилейном для Сталина (к тому же в тридцать девятом году проходил XVIII съезд партии!), Гай-

---

[3] Примечания: 3

Впрочем, в одном из гайдаровских сочинений («Встречи в бурю», 1926), основанном на воспоминаниях бывшего военного коменданта Перми, Сталин все же присутствует. Но именно только *присутствует*: на протяжении всего мемуарного рассказа не говорит ни слова… Редчайший случай в тогдашней литературе!

дар ухитрился обойтись без упоминания вождя…

Вот он отвечает на вопрос «Литературной газеты», над чем он сейчас работает (на дворе — февраль 1939 года).

> «Работаю над повестью „Талисман“ – рассказываю о том, как солдат искал счастье. (Неоконченную повесть эту мы знаем под условным названием „Бумбараш“. – *С. С.*)
>
> И как раз в часы этой моей работы пришло большое счастье ко мне, и, как замечательный талисман, удесятеряющий мои творческие силы, я принял великое внимание правительства и партии.
>
> У моего талисмана чудесные свойства. Это подарок страны… И волшебная творческая сила моего талисмана прекращается там, где кончается труд».

Где тут Сталин? Его нет и в помине. Партия отодвинута на второй план (тоже случай невиданный!). И наконец, награду свою Гайдар принимает как «подарок страны», хотя он прекрасно понимал, что Сталин если и не подписывал, то наверняка утверждал список награжденных…

Не менее прохладно относился Гайдар к офи-

циальному символу тогдашней партийной идеологии — коммунизму.

В киноповести Гайдара «Комендант снежной крепости» (1940) капитан Максимов рассуждает о картине под названием «Путь к коммунизму», созданной студенткой Ниной, которая капитану нравилась, а потом стала его женой. На картине этой были изображены «люди разных возрастов и национальностей. С плодами и цветами в руках они выходят по тропкам на широкую дорогу, которая ведет к освещенным солнцем горным вершинам».

Устами своего героя (а по сути — своими собственными, ибо капитан Максимов — один из «дублеров» писателя) Гайдар произносит над этой картиной убийственно ироничные слова: «Это беспечные люди возвращаются с пикника домой… Девочка, не сердись, но таких дорог к коммунизму не бывает».

В целом же свою жизненно-политическую программу Гайдар наиболее полно представил в одной из записей дневника, когда заканчивал «Военную тайну» (1934).

> «Эта повесть моя будет за Гордую Советскую страну.

За славных товарищей, которые в тюрьмах.

За крепкую дружбу.

За любовь к нашим детям.

И просто за любовь».

Последние три пункта понятны, а вот первые два трудно оставить без пояснений.

Слова о «Гордой Советской стране» — самые важные для Гайдара.

Помните, кого он благодарил за награду? Прежде всего — свою страну.

А в словах о стране главное слово — «Гордая» (недаром с большой буквы!).

И второй пункт тоже важен — о товарищах, «которые в тюрьмах».

Своих или зарубежных товарищей имеет он в виду? Или тех и других сразу?

Судя по «Военной тайне», казалось бы, зарубежных: ту же Марицу Маргулис, сестру Владика Дашевского и других.

Но в дневнике не сказано «зарубежных»! А советские тюрьмы в августе 1934 года, когда сделана запись, тоже не пустовали. И сидели в них не только враги СССР и не только враги Гайдара.

Скажем, умнейший советский коммунист

Мартемьян Рютин, еще в 1930 году дерзнувший выпустить листовку с призывом отстранить Сталина от власти в партии и в стране, тогда же и был арестован. А поскольку перед этим Рютин два года возглавлял главную военную газету страны «Красная звезда», он мог быть даже знаком с Гайдаром — прямо или через общих знакомых, коих в военной среде у них нашлось бы немало. А уж слышать о нем Гайдар наверняка слышал!

И тем более мог быть знаком Гайдар с ленинградскими поэтами Даниилом Хармсом и Александром Введенским — своими коллегами по детской литературе. А оба они были впервые арестованы в 1931 году.

И когда Сергей Ганин пел сыну Альке свою любимую песню про «товарищей в тюрьмах, застенках холодных» и при этом «невольно зажмуривался», только ли о Марице Маргулис вспоминал он, как полагал чуткий шестилетний Алька, — может, и о ком-то другом, необязательно зарубежном?…

Скажу больше: а не нарочно ли Алькину «мамку» Гайдар сделал *зарубежной* комсомолкой, погибшей в застенке? Нет ли и здесь хитрости против строгой советской цензуры, чтобы, пробившись через нее, сказать и о наших, советских,

невинных жертвах? Ведь сумел же Гайдар «внедрить» шестилетнего Альку в пионерский лагерь, хотя до пионеров тому было еще расти и расти… Алька же ему был нужен — и, как это ни жутко, нужна была *гибель* Альки, что видно опять же из записи в дневнике, когда книга еще писалась: «… Никто не знает, как мне жаль Альку. Как мне до боли жаль, что он в конце книги погибнет. И я ничего не могу изменить. Я могу только сделать все, что в моих силах, чтобы оставить крепкую память, горячую любовь к этому маленькому и верному человеку».

Для чего же ему понадобилось губить своего любимого героя — тем более любимого, что прототипом Альки был его собственный сын? (В дневнике Гайдара есть об этом прямая запись: «Интересно, как будет читать и понимать он мою „Военную тайну“? Ведь Алька — это он сам».) Гайдар понимал, что гибель маленького обаятельного мальчишки, с добром и любовью относящегося ко всем хорошим людям, потрясет юных читателей и те запомнят каждую Алькину фразу, каждое, даже мимолетно брошенное, слово. А через них войдут в души читателей и его собственные, гайдаровские, мысли. Вот почему, вопреки собственным чувствам, вопреки

просьбам ребят (иные прямо *требовали*, чтобы он пощадил Альку), писатель наотрез отказался спасать своего героя…

Кончая разговор о «потаенном», по сути еще не прочитанном Гайдаре, скажем еще о повести «Судьба барабанщика», о которой такие речи в печати уже велись. По свидетельству близких друзей Гайдара, в первом варианте повести отца Сережи арестовывали как «врага народа». И лишь полная невозможность напечатать повесть в таком виде заставила Гайдара заменить несправедливое политическое обвинение героя заурядной растратой. Но Гайдар и при этом схитрил, и не раз, обманув все же бдительность цензоров: сперва он направил «растратчика» на Беломорско-Балтийский канал (судя по описанию того, что Сережин папа там делал), где трудились в ту пору не уголовники, а в основном «политические»; а потом, организовав его досрочное освобождение за ударную работу, так подал его встречу в Москве, что умный читатель сразу смекнул: нет, растратчиков так не встречают!

> «И конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они (отец с сыном. – *С. С.*) прямо,

честно и открыто.

И тогда те люди, что их встречали, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

– Здравствуйте!»

Знаменитый псевдоним писателя долгое время расшифровывали как «всадник, скачущий впереди», пока сын писателя, ссылаясь на А. М. Гольдина, сотоварища Аркадия Голикова по Арзамасской гимназии, не расшифровал его совсем неожиданно: «Голиков Аркадий из Арзамаса». Принцип этой расшифровки станет ясен, если псевдоним писателя записать так: «Г-ай-д'Ар», где «Г» — первая буква фамилии, «ай» — первая и последняя буква имени, а «д'Ар» — французское обозначение происхождения человека из какой-либо местности. Здесь указаны первые две буквы географического названия. Так, д'Артаньян — человек из Артаньяна. Или, скажем, владетель Артаньяна (по сему принципу сложен длинный, но неубедительный титул небезызвестного Портоса: барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон).

Если учесть, что гимназист Аркадий Голиков подобным же образом зашифровывал свои записи в дневнике, эта новейшая версия имеет большие шансы стать окончательной. Жаль?! Но

даже если и так, то наши лучшие представления о Гайдаре вовсе не пошатнутся. Ведь отчего возникла красивая легенда о «всаднике, скачущем впереди»? Да оттого, что своими книгами и жизнью Гайдар *заслужил* такой «титул». Псевдоним можно придумать самый звонкий, но если он будет резко расходиться с жизнью своего владельца, то может вместо гордого имени превратиться в пародийное прозвище…

Для своей короткой жизни поразительно много пережил, узнал и понял Гайдар. Прежде чем писать о родной земле, Аркадий Голиков ее *защитил*[4] ценой собственной крови. А потом исходил и изъездил ее вдоль и поперек и хорошо узнал. Он ее полюбил как нечто очень родное и близкое.

Жаль, что никто не вычертил карту странствий Гайдара по родной земле — выразительная это была бы карта!

Украина, Алтай, Крайний Север, Урал, Дальний Восток, Крым, Кавказ, Средняя Азия, Поволжье были для него не просто географические понятия, а родные места. Он мог подробно рассказать о них не потому лишь, что там побывал, но и потому,

---

[4] Примечания: 4

Тут вы ехидно заметите: «А от кого он ее защитил?» От врагов. От тех, кого он в ту пору считал врагами своей «Гордой Советской страны». А кого посчитал бы сегодня — гадать не берусь.

что органично вписался в тамошнюю жизнь, стал своим человеком, почти жителем тех мест.

Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Подмосковье в счет не идут: они как бы подразумеваются в жизни любого российского писателя. Но для Гайдара эти места были только одними из многих в жизни. Я не думаю, что в его сердце они имели перевес надо Льговом, где он родился, над Арзамасом и Сормовом, где прошли его детство и юность; над Пермью, Свердловском (ныне Екатеринбург), Архангельском и Хабаровском, где пролегли его первые журналистские тропы (как большинство писателей, он начинал с журналистики); над курской Ивней или крымским Артеком, где главным другом и спутником был его сынишка Тимур; или над рязанской Солотчей, где в кругу своих литературных друзей он славно отдохнул и написал немало страниц веселой и поэтичной прозы.

Он почти буквально держал руку на пульсе страны, всегда зная не только чем она живет, но и куда стремится. И умел рассказать об этом даже самым маленьким детям. Оттого он и стал в нашей детской литературе правофланговым. И пока что, несмотря на все выпады и стрелы в его адрес, это почетное звание у него никто не отнял,

и я думаю, что уже не отнимет.

Литературные способности Аркадия сказывались еще в детстве. Уже тогда он сочинял стихи, писал отцу на фронт интересные письма, а в своем школьном дневнике записал, что его любимое занятие — книга. Тут же назвал он и своих любимых писателей той поры: Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Жюля Верна…

В доме Голиковых было много книг: мать и отец — учителя — с удовольствием писали стихи, радовало их, когда дети пели песни… Любовь к хорошей, задушевной песне на всю жизнь осталась в душе Гайдара. И в его книгах — тоже.

… И однако, когда уже в двадцать лет Аркадий вынужден был сменить свою военную профессию на гражданскую и выбрал писательскую, учиться ему пришлось заново. Хорошо, что учителя попались чуткие: в Ленинградском отделении Госиздата, куда Аркадий принес свою небрежно переписанную, да еще и растрепанную рукопись «В дни поражений и побед», которая одним своим видом могла ужаснуть любого редактора, его встретили Константин Федин, Михаил Слонимский и Сергей Семенов — писатели в ту пору еще молодые, но уже достаточно опытные. Новичок вел себя непривычно: он не выглядел ни само-

уверенным графоманом, ни робким просителем. Этим он и заинтересовал своих первых редакторов — сначала самим собой, а потом и своей рукописью, которая, при всей дилетантской рыхлости, читалась взахлеб. Тогда-то Константин Федин и произнес свои пророческие слова: «Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете».

И вот они, годы скитаний по России, — может быть, решающие: Ленинград — Гагра — Харьков — Щигры (заглянул к тетке, в родные курские края, и сбежал от мещанского уюта) — Артемовск (нанялся вагонщиком на шахту)... За это время пытался писать роман «Взрыв» — не получилось; возвращаться с пустыми руками в Ленинград не хотелось, и он завернул в Москву. Встретил там друга своей арзамасской юности, Шуру Плеско, и по его совету поехал в Пермь, в газету «Звезда».

Здесь начался второй этап его литературной учебы. Начался с фельетонов, продолжился рассказами (один из них и был подписан псевдонимом «Гайдар»), затем повестями «Лбовщина» и «Всадники неприступных гор» (по следам поездки в Среднюю Азию). Позже Гайдар из Перми переехал в Свердловск (в газету «Уральский рабочий»), оттуда в Москву, потом в Архангельск

(в газету «Волна», уже при нем переименованную в «Правду Севера») и лишь затем вернулся в Ленинград.

Так замкнулся огромный круг литературных и нелитературных скитаний. Четыре года назад из Ленинграда уехал Аркадий Голиков, робкий литературный новичок, — теперь вернулся туда опытный журналист и писатель Аркадий Гайдар, осознавший не только свою высокую литературную миссию, но и узкую специальность. Уже через год после этого он уверенно заявит в первой литературной автобиографии: «Я пишу, главным образом, для юношества. Лучший мой читатель — десяти-пятнадцати лет. Этого читателя я люблю, и мне кажется, что я его понимаю, потому что не так давно таким же подростком был я сам».

Это превращение литературного новичка в опытного писателя, почти мастера, — одна из загадок Гайдара, которую так и не разгадали его исследователи. Друг Гайдара, добрейший Иван Игнатьевич Халтурин, редактор и критик, в своих воспоминаниях пролил свет на многие загадки личности и биографии писателя, но перед этой загадкой спасовал. «Из всей биографии Гайдара самое загадочное для меня: как он написал „Школу“? — замечает он. — Положа руку на сердце, мы

не можем сказать, что „Р. В. С.“ было вступлением к „Школе“, — это только дальние подступы к ней. А ведь после „Р. В. С.“ были написаны еще более слабые вещи. Откуда же взялась у него в этой повести зрелость замысла, чувство композиции, убежденность интонации, весомое и точное слово?!»

Истории литературы, однако, такие загадки известны. Разве узнаешь могучего Гоголя в его первой книжке «Ганц Кюхельгартен», благоразумно выпущенной под псевдонимом «В. Алов», а вскоре скупленной и уничтоженной самим автором, или великого поэта Некрасова в его первом стихотворном сборнике «Мечты и звуки»?... Но уже следующие их книги — совсем иные.

На естественный вопрос — откуда что взялось? — ответ известен: из жизни. Из наблюдений, из встреч с интересными людьми (необязательно знаменитыми). Из некоторых книг. Из атмосферы времени. Впечатления, вынесенные из всего этого, накапливаются, дают мощный толчок внутреннему развитию писателя — и количество переходит в качество.

Применительно к Гайдару эти соображения тем более справедливы. Ведь как раз на четыре решающих года приходится максимум его поездок

и встреч. На эти же годы приходится его работа в четырех местных газетах (к уже названным добавим московскую газету «Красный воин», где Гайдар печатал рассказы, статьи и заметки на военные темы).

Разумеется, все это дополнялось и напряженной литературной учебой Гайдара, которую в тот период он вел самостоятельно.

У него было литературное дарование, но была и прекрасная способность к самообучению, позволявшая ему отлично освоить сперва военное, а потом и литературное дело. Уроки, полученные им в 1920-х годах у первых литературных учителей, не прошли даром.

Выходит, не столь уж внезапно появление «Обыкновенной биографии» («Школы») после четырех лет скитаний Гайдара по России. Он проделал за это время колоссальную работу над собой, над своей литературной техникой и из робкого новичка превратился в зрелого детско-юношеского писателя, который начинал утверждать в литературе собственные творческие вкусы.

Опытный воин, человек стратегического мышления, Гайдар задолго до Великой Отечественной войны предвидел ее неизбежность.

Трудно поверить, что эти пророческие слова написаны в 1929 году, за двенадцать лет до ее начала. «Тот год и тот день, когда напряженную тишину тысячеверстной западной границы разорвут первые залпы вражеских батарей… этот год, и день, и час не отмечен еще черной каемкой ни в одном из календарей земного шара. Но год этот будет, день возникнет, и час придет».

В предвидении этого часа и готовил Гайдар «краснозвездную крепкую гвардию». И если приглядеться к его детским книжкам, мы увидим, что едва ли не каждая из них — начиная с первой его книжки «Р. В. С.» до, казалось бы, совсем «мирных» его книг вроде рассказов «Чук и Гек» или «Голубая чашка» — успешно решает эту задачу.

Особо стоит сказать о «Тимуре и его команде». Печататься эта повесть начала в «Пионерской правде» в сентябре 1940 года, а отдельным изданием вышла в январе 1941 года. Каждое ее продолжение в газете юные читатели ждали с таким нетерпением, что однажды ребята из подмосковного села Косина (теперь оно стало Москвой) даже примчались в редакцию, чтобы узнать, что там будет в повести дальше…

Гайдар оказался прав: вскоре в стране появились и тимуровцы, и Тимуры. С одним из них

писатель встретился в осажденном фашистами Киеве. Встреча эта не могла пройти мимо сознания писателя. И уже через несколько дней после этой встречи в республиканской газете «Правда Украины» появилось обращение Гайдара к тимуровцам и остальным детям: «Ребята, пионеры, славные тимуровцы! Окружите еще большим вниманием и заботой семьи бойцов, ушедших на фронт. У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы. Работайте безустанно, помогая старшим. Выполняйте их поручения безоговорочно, безотказно и точно. Поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек, лодырей и хулиганов…

Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о появлении врагов — диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов. Если кому случится столкнуться с врагом, молчите или обманывайте его, показывайте ему не те, что надо, дороги. Следите за вражескими проходящими частями. Смотрите, куда они пошли, какое у них оружие».

Опытнейший, закаленный воин, Гайдар дает умные, толковые советы чуть не на все случаи, какие могут быть на войне. И юные партизаны, да и просто подростки, оставшиеся в тылу врага,

вели себя в оккупации точно так, как советовал им Гайдар.

Его статью в ведущей украинской газете наверняка читали будущие молодогвардейцы из города Краснодона, коим скоро предстояло испробовать гайдаровские советы на деле. И они, как мы знаем, не подвели. Даже комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич, которого под именем Стаховича долго считали предателем, на поверку оказался настоящим героем.

За год до войны Гайдару пришлось выступать среди студентов и преподавателей Московского библиотечного института. Вопрос одного из педагогов был таким:

«Скажите, а как воспитывать ненависть к врагу? Ведь это очень трудно...»

«Трудно, — согласился Гайдар. — Но зачем же воспитывать ненависть? Воспитывайте любовь к Родине. А если на Родину кто-нибудь нападет, ненависть придет сама».

Вот позиция «позднего» Гайдара! И хотя через год после этого жизнь снова заставит его надеть военную форму, на сей раз даже ярые его враги не смогут приписать ему никаких грехов, а тем более обвинить в жестокости.

Казалось бы, крепко привязанный к своему «революционному» времени Гайдар на самом-то деле жил «помимо» него — он словно бы прилетел к нам из будущего. Из того самого «светлого царства», в котором он еще надеялся пожить вместе со своими читателями.

Гайдар по-настоящему еще не прочитан, а по сути, даже и не открыт. Остается надеяться, что его не затопчет нынешняя самодовольная эпоха, а для новых детских поколений он поднимется даже выше, чем в лучшую свою пору. Потому что он сам и его книги — это и правдивое зеркало минувших и сложных времен, и надежный компас, подсказывающий, куда идти России и всем нам, если мы хотим жить гордо, честно и справедливо.

Сергей Сивоконь

Автобиография

В августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на Германский фронт.

Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованные железом сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Всё таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощания — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили.

Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками,

которых уродилась в тот год неисчислимая сила.

И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительными, но тяжело-угрюмыми тучами над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей и убиты на полях Галиции, в Карпатах, под Трапезундом и под Ригой, — те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: Петлюровском, Польском,

Кавказском, Внутреннем, на Антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное.

«Если бы, — бормотал он, — на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда… Вот и все! Нет… не все. Нет — все, товарищи!»

И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанными огуречными и морковными грядками, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, *что* он хочет и торопится сказать, — чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колчака прогнали уже за Волгу, что наш часовой не вовре-

мя бросил бомбу и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но советская власть жила, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал — конеч-

но, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас.

С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам — какая она была, жизнь? Как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще слабые, то останутся: «Р. В. С», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый

блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

1937 г. Аркадий Гайдар

Судьба барабанщика

Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь в реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой. Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая и, что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре — совсем для нас неожиданно — отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел

старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой как только увиделись мы, рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, но только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно

и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна — и мы все втроем поедем на Кавказ, на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребятишки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.



... Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Всё там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань слабо, как звездочки, мерцали желтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я

уплываю куда-то очень далеко.

«Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? „А на этой березе, — сказал ты, — сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: „Карр... карр!““ И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра, — в серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленок и мычит: „Муу-муу!“ Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.

Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны маршпоход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудреме прощался я с отцом горько

и крепко, потому что все же я его очень любил, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя.

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал — но не ей уже, а мне — открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим

чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы… если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. И весело мне

от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек. И мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы летчиков.

Он вошел вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунув голову на кухню, чего-то понюхал, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.

— Уехала Валентина? — спросил Юрка. — Таак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать — брал на кино — и семь гривен за эскимо-мороженое. Итого рубль девяносто, для ровного счета — два.

— Юрка, — возразил я, — никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте и сел на место.

— Ну вот! — поморщился Юрка. — Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял се-

бе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлекся — не заметил, как и проскочило?

— Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

— Конечно, отдай! — похвалил Юрка. — Вы ели, а я за вас страдать должен?! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

— Помню.

— А помнишь, как только он вылез, веревка дернула — и он опять в воду?

— И это помню.

— Ну вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось пожадничала?

— Зачем «пожадничала»! Полтораста рублей оставила, — ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.

— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка. — Этакие деньги да чтобы проесть начисто!



Он удивленно посмотрел на меня и рассме-

ялся.

— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

— А сколько?... Подай-ка мне счеты. Я тебе сейчас, как бухгалтер... точно! Полкило хлеба на день — раз — это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахару на месяц — обопьешься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин — два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого — живи, как банкир, — семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?

— Нет, Юрка! — испугался я. — Я лучше не сейчас, а потом... Я еще подумаю.

— Ну подумай! — согласился Юрка. — На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи...

Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:

— И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжероны, вибрация, деривация... Самолет не трамвай. Чуть не дотянул — и пошел в штопор, чуть перетянул — еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.

... Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно поте-

ряны. Да и запирать-то там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, пол-флакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И все это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехались по дачам. Вздымая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок

колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.

Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!

Помню, как посадит он меня, бывало, за весла, и плывем мы с ним вечером по реке.

— Папа! — попросил как-то я. — Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо, — сказал он. — Положи весла. Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов… винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите, — говорит командир, — еще немного, дойдем, собьем… тогда и отдохнем… Кто до утра, а кто и навеки…» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший, — подумал я. — Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски, — однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:

— Тоже… певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный, он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! — думал я. — Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолеты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка.

В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять

рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру на Пушкинской площади Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

— Знакомься, — сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам. — Это Женя, Петя и Володя из восемнадцатой школы. Огонь-ребята и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» — Женя, Петя и Володя, — как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

— Он парень хороший, — отрекомендовал меня Юрка. — Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак, про отца помолчать, — хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посовещавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашел к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не

зашел.

Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает.

Взбешенный, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

— Экая беда! — пожалел меня Юрка. — Так-таки говорят, что нет и не бывает?

— Так-таки нет и не бывает! — с отчаянием повторил я. — Да что ты притворяешься, Юрка! Ты все и сам знал раньше.

— Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил — это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дернул ручку на себя — он вверх пошел, двинул вперед — он книзу. А фотографы — это для меня не люди... а тьфу! То ли дело летчики!..

— Юрка, — попросил я, — давай пойдем к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирает аппарат, а деньги отдаст обратно!

— Что ты! Что ты! — удивился Юрка. — Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятерка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе мое было так велико, что я едва удерживался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

— Друг я тебе или нет?! — воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

— Конечно нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

— А коли друг, так пойдем со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена — сорок рублей, задаток — десять.

— Выкладывай, — торжествующе сказал Юрка. — То-то вас, дураков, учи да учи, а спасиба и не дождешься!

— Юрка, — спросил я, — а где же я потом возьму остальную тридцатку?

— Наберешь! Наскребешь понемножку, а нет,

так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь, — он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжелым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрел к дому.

— Не скучай, — посоветовал мне на прощание Юрка. — Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники — там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашел от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашел, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентининого приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счетах прикидывал Юрка: кило да полкило — это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахару. Но зато к обеду, подгоняемый

голодом, накупал я наспех совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита и наконец, злой, полуголодный, махнув на все рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания. Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл, до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и не трудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвращаясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего

я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивался.

Я спросил у Юрки:

— Кто это?

— Это артист, — объяснил мне Юрка. — Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится теткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеется ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.



В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол я ему — не помню. И как я попал домой — не помню тоже.

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился, задернул штору, лег, посадил к себе под

одеяло котенка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога вспорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!

Ти-ше!

Слы-шишь?

Ти-ше!

А котенок урчал на моей груди: «Мур... мур...», иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце.

... Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень — за то, что я не вовремя отправил в лагерь кавказский адрес Валентины, и теперь, конечно, ее ответ придет еще не скоро. Как я буду жить — этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся я за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днем за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробо-

вал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно, — подумал я, — но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай!

Ти-ше!

Слы-шишь?

Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни… Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается бле-

стящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два за вход и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой.

Бродил я долго, но счастья мне не было. Музыка играла все громче и громче. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешевенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище.

Вдруг — вся в черном и в золотых звездах — вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы. И сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

— Ах, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки… Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг — трах! ба-бах! — труба… пальба… Бегут какие-то солдаты — все в стороны, все смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет… Ты почему один? Ты тоже потерялся?

— Нет, я не потерялся — мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой, — помолчав немного, попросил я, — не надевай маску. Дайка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

… Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густыми деревьями и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались

нам навстречу добрые звери и злобные страшилы и чудовища.

Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах — должно быть, выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно, потому, что волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник.

— Деньги! А это что — не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды

тайком в кино.

— Сережа, — с тревогой заметила Нина, — ты, я вижу, что-то очень много тратишь.

— Пустое, Нина! Я рад. Постой-ка, я куплю вот это…

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе — красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие упругие шары болтались и хлопали над головами.



Вдруг свет погас, померкли луна и звезды, потому что ударил залп и тысяча стремительных

ракет умчалась и затанцевала в небе.

— Когда я буду большая, — задумчиво сказала Нина, — я тоже что-нибудь такое сделаю.

— Какое?

— Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь… Смотри, Сережа! Огонь… огонь… и еще огонь!

— Что ты бормочешь, глупая! — засмеялся я. — Ну хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен…

— Но ты же выздоровеешь, — уверенно подсказала Нина.

— Ну хорошо, а потом?

— А потом? — Нина улыбнулась. — А потом… потом… Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечевок и взял оба шара в руки.

— Гляди, Нина, голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два… полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

— Не жалей, — сказал я, — им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю.

Вот догнал!

— Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правей лети, глупый, правее! Сережа! Почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?

— Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?!

Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь…

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидали совсем неподалеку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

— Нина, — спросил я медленно и обдумывая каждое слово, — можно, я изредка буду тебе звонить?

— Звони! — сказала она. — Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

— Нина, — спросил я, — а если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твердо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу. Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.

… Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвертой школы.

Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца.

Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потертым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожил своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию…

И на что ему была нужна дружба с ворами!

… Во дворе мне сказали, что прачка приходила два раза. Белье оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придет завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник — керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил — никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег. Но где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколол, тому ведро вынес, тому ковер вытряхнул?…

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать… все равно достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому.

Но где взять тридцать рублей на выкуп?

И сразу же: «А что же такое, если не деньги,

лежит в запертом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не все взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении. Тогда будет все хорошо. Тогда я подберу ключ, возьму тридцатку, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну до чего же все просто и замечательно!

Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моем сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно прикрикнул на них и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник. — Все хулиганство? Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвертку, а сам, чертяка, чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котенок орет, мяучит. Газету исцарапал да пол-телеграммы изодрал от страха. Насилу разо-

брали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда, — сказал я. — У меня радиоприемник сломался. Ну вот… там подточить надо.

— То-то, глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прощелыга Юрка зачастил? Ты, парень, смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да белье захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами прийти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я. — Он, дядя Николай, все что-то там взрывает… грохает… Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, освещал ее огнем спички, смазывал замок из масленки от швейной машины, но он упирался как заколдованный. И

вдруг — крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скрежетом, но все же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику.

Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел черный, тускло поблескивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его — он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого недоставало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени — и нашел совсем не то, что мне было надо.

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того! Вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от

дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддается! Крак — и ушко сломалось; теперь еще хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донесся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьевщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятишек, никого не было. Молча поманил я рукой старьевщика, и, пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озирался по сторонам, прикидывал, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка — локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка — все равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать… теперь не до игры. Я свалил все в одну кучу, вытер слезы и кинулся на звонок.

Вошел старьевщик. Цепкими руками он ловко перерыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то еще больше надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

— Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво повторял:

— Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку. Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

— Пять рублей!

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол, — шесть да пять, всего одиннадцать?

— Одиннадцать рублей, — вскидывая сумку, сказал старьевщик. — Хочешь — отдавай, нет — пойду дальше.

— Постой! — с испугом, который не укрылся от его маленьких жестких глаз, сказал я. — Ты погоди, я сейчас еще…

Я пошел в соседнюю комнату. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкап.

Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за

мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдернул ее с крючка. Она была пушистая, легкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил ее перед старьевщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!



Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул ее, поднес близко к глазам и понюхал.

— Семьдесят рублей, — тихо сказал он. — Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» — испугался я, но так как

отступать было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:

— Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

— Молодой иунуш, — громко сказал тогда старьевщик, — я не спорю! Может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за нее не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать — восемьдесят один. Получай деньги — и все дело.

— Как ты смеешь! — забормотал я. — Это мое… Это не твое дело… Это мне подарили.

— Я не спорю! — усмехнулся старьевщик. — Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка, — такой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги — и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришел. Дела мои печальные только еще начинались.

На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии,

которая сражалась одна против всего мира.

Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он — вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться вокруг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который еще с

утра случайно остался в замке и все время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.

> «Это я… то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.

— Это я — солдат-барабанщик! Я тоже и одинокий, и заброшенный… Эй ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котенка кулаком в теплый пушистый живот.

Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами.

«Мяу! — ответил он. — Ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам Валенти-

ниных горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тарарам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краев наливают блюдечко теплым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки».

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щеткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я сам забыл ее закрыть.

А так как голова моя все время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход: «А что, если (не по ночам, это страшно) днем уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут настоящие воры, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем не

плох. Но так как мне жалко было, чтобы воры забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда все белье, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав все это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами, оставшимися из-под мешков с известкой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь, — злорадно подумал я, — пусть приходят!»

В течение трех дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но — странное дело! — воры не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щелк… щелк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам… В страхе, запыхавшись, возвращались с полпути, чтобы проверить, хорошо ли закрыто.

Кроме дверных навешивали замки наружные. Крючки, цепочки…

А тут три дня стоит квартира незапертой и

даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не сует туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, все ли дома в порядке и принесла ли белье прачка.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую желтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизнь, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное, — то я честно написал бы ей всю правду. Потому что хотя приходилась она мне не матерью и даже теперь не мачехой, но была она все же человек не злой, когда-то баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, белье прачка принесла и беспокоиться ей нечего. Я отнес письмо и, насвистывая, притопывая (то есть семь, мол, бед — один ответ), поднимался к себе по лестнице.

Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Легкий шум — как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул — донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!..

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять… Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

— Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! — долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорос-

лый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.

— Друг мой, — спросил он, — ты из этой, пятнадцатой, квартиры?

— Да, — пробормотал я, — из этой.

— Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

— Но я не думал, я не знал, зачем вы тут… поете?

— Понимаю! — воскликнул толстяк. — Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

— Она уехала с мужем на Кавказ, — ответил я, — и вернется не скоро.

— Боги великие! — огорчился дядя. — Дорогая сестра уехала, так и не дождавшись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

— Нет, она не предупредила, — ответил я, виновато оглядывая ободранную мной и непри-

глядную нашу квартиру. — Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдце и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

— Узнаю, узнаю беспечное созданье! — укоризненно качнул головой толстяк. — Помню еще, как в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?... Сарай не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев?

— Это не после налета! — растерянно оправдывался я. — Это я сам все посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали воры.

— Похвально! — одобрил дядя. — Но почему же, в таком случае, парадную дверь ты оставляешь открытой?

На мое счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

— Неприлично, — объяснил он. — Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства, —

и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки.

— Дядечка приехал! — похвалился я. — Добрый! Теперь мне будет весело.

— И то лучше, — сказала дворничиха. — Виданное ли дело — оставлять квартиру на несмышленого ребенка! Дитё — оно дитё и есть. Сейчас умное, а отвернулся — смотришь, а оно еще совсем дурак.

— Это которые маленькие — дураки, — обиделся я. — А я уже не маленький.

— Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в таку пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул — да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо еще, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! — писал я. — К нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты ее съела? Или у тебя был насморк?...»

Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили и я кинулся в прихожую. Вошел дядя и с ним еще кто-то.

— Зажги свет! Где выключатель? — командовал дядя. — Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу, я сам повешу... Сам, сам, для друга все сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты еще крепок. Да, да! Ты не качай головой... Ты еще пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Ученый. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни

пострадал. Но, как видишь, орел!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, проницательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы!..

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядиного знаменитого товарища.



Если по правде сказать, то могучий дуб он мне

не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым.

Он был одет в зеленую диагоналевую гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени. Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо к Валентине.

Он пододвинул письмо к себе и стал читать…

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

— Позор! — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу. — Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

— Смотри, Яков, на этого человека — беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет

письмо к мачехе. Ну пусть, наконец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустился на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это!

— Брось в печку! — с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу. — Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и доче-

рям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии, — опасливо подумал я. — Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

— Кто это? — сквозь сон спросил я. — Это вы, дядя?

— Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

— Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

— Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь.

Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя

какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, щурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет еще интересней! Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда — хлоп! — и готово. Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая

фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: „Дорогому дядечке от такого-то…“ Удивление, думал я, и радость будут безмерны.

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я между двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Щелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.



На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щелк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив в трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

— Послушай, друг мой, — спросил он в упор. — Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?...

Все рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться — сбился, спутался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: „Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор“.

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

— Время! — грустно сказал дядя. — Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в мили-

цию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет Бога и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то что дядя ругал меня и мошенником и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился.

— Нет, ты послушай, старик Яков! — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами. — Какова пошла наша молодежь! — Тут он дернул меня за рукав. — Погляди, мошенник, на зеленую диагоналевую куртку этого, не скажу — старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?... Ага, ты замигал глазами! Ты содрогаешься! Потому что на этой диагоналевой гимнастерке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или

под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

— Иди и помни! — отпустил меня дядя. — Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковом уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его неспокойно после всего, что случилось.

— За тобою нужен острый глаз, — сказал дядя. — И тебя сдержать может только рука властная и

крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть раз попробуешь идти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

„Какие птицы? Кто вышвырнет? — думал я. — Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу — и я, не задумавшись, полез бы с радостью“.

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушел.

Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потертые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и, чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой.

Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах

оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось.

Тогда я решил, что днем буду кепку держать в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан, какие-то свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю! — сказал он. — Люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне сверток. В нем были корот-

кие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он. — Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе.

Попрощался с дворником, дядей Николаем, и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осовелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с

Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Все равно там теперь пусто и никого нет.

Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчило сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно… То да сё — вот и все! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня — кривой, с шилом, у него — прямой, со штопором. Съели по ириске да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

… В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую „Ниву“. Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и нерусских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную „Ниву“ и сказал мне, что я еще молод и должен ду-

мать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

— Скоро, — ответил дядя. — Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,
Над землей загорится луна.
И под нею заснет необъятная
Превосходная наша страна.
Спят все люди с улыбкой умильною,
Одеялом покрывшись своим.
Только мы лишь, дорогою пыльною
До рассвета шагая, не спим.

Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся. — Что, хороша песня? То-то! А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе

любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль, — хмуро ответил я. — У него намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со своими вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя. — Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да, да! Что там ни говори — старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться — вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокосая девушка взяла сверток и встала.

Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, и он велел брать жесткие.

Задрожали стекла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ; он что-то спросил у дяди — по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок — и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

— Съешь, Яков! — предложил дядя. — Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

— Пройдет! — сморщив лицо, простонал Яков. — Конечно, трясет, толкает, но я потерплю!

— Он потерпит! — возмущенно вскричал дя-

дя. — Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

— Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная, — предложила сидевшая напротив старушка. — А вы бы, молодой человек, потише курили, — обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. — От вашего табачища и здорового легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.

— Благодарю вас, благородная старушка, — сказал дядя. — Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

— Ты мети, голова, потише! — укорил проводника бородатый дядька. — Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувстви-

ем к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

— Упаси Бог! — пробормотала старушка. — Или уж правда плох очень?

— Что там такое? — спросила проходившая по коридору тетка.

— Да вон в том купе человек, слышь, помирает, — охотно объяснил ей бородатый. — Вот так, живешь-живешь, а где помрешь — неизвестно.

— Высадить бы надо, — осторожно посоветовали из-за соседней двери. — Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

— Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.

— Ха-ха! Он помрет! Слышь ли, старик Яков? — дергая его за пятку, спросил дядя. — Они говорят,

что ты помираешь. Нет, нет! Дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и легкий сердечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда! Конечно, говорю я, он еще улыбается. Но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил:

— Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушел.

Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в

положение.

Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они одалживают друг другу чайник, ножик, соли. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почем там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно богатой приключениями, жизни…

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет, — громко объяснил дядя. — Он слишком скромен. Да, да! Ты скромен, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И конечно, ты, а не кто-либо иной управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек. — Так же не бывает.

— Бывает всяко, — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ: — Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма, — начал свой рассказ дядя. — Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянт-

ки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

„Даешь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник. — Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать — императорской свадьбы, рождения или коронации!“ И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма…

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.

— Но послушайте, вы всё шутите, — обиженно заметил сверху круглолицый паренек. — Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

— Да, я шучу, молодой человек, — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. — Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу. — А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку

отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.



Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми, — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. — Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку. — Понял? — повторил дядя. — Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за

подбородок и легонько подтолкнул.

— Иди, — сказал он, — делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.

Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому кожаная, и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. „Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я. — Рита-та-та! Тра-та-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!“

— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.

— Все сделано, — тихо ответил я.

— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

— Вы бы мальчика спать уложили, — посоветовала старушка. — Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

— Ну, что за красные! — ответил ей дядя. — Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

— С умным человеком отчего не договориться... — вздохнула старушка. — А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит... „Эх, — говорит, — мама, никак мы с тобой не договоримся!..“ Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться.

И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

Сергей-барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.

„Но! Но! — говорю я. — Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками“.

Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, и пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник. — Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

— Напьются и безобразят!.. — вздохнул дядя. — Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел.

И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.

— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. — Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.

— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков. — Попроси, милый!

„Милый“? Хорош „милый“! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой

головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да еще передам ему и эту сумку!

Проводник как раз шел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла.

Сказать или не сказать?

— Молодой человек, — спросил вдруг проводник, — что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий.

— Да, — пробормотал я, — но мне же нужно… и они меня посылают…

— Я не знаю, что вам нужно, — перебил меня проводник, — а мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?

„Поздно! — испугался я. — Теперь уже говорить поздно… Смотри берегись, осторожней!..“

— Да, — вздрагивающим голосом ответил я, — но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку, — протянул руку проводник, — для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно, — пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я. — У него уже совсем прошло!

— Ну, не нужно так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник. — А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.

— Молодец! — тихо похвалил меня он. — Талант! Капабланка!

И странно! То ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки: и мои недавние размышления, и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

— Герой! — с восхищением сказал дядя. — Геркулес! Гений! — Он посмотрел на часы. — Идем, через пять минут станция.

— И тогда что?

— И тогда все! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала только одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровехонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

... Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во

время переполоха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя), — этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чем? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне.

Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами.

Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены.

Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то неви-

данно прекрасному городу.

… С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки — птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвой, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху — без всякого парашюта, а просто так, широко раскинув руки, — и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни, светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дернул меня за плечо:

— Друг мой! Что с тобой: столбняк, отупение? Я кричу, я дергаю… Давай собирай вещи.

— Это что? — как в полусне, спросил я, указывая рукой за окошко.

— А, это? Это все называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на Севере, все были одеты — ярче, проще, легче, — только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Киевляне! — вытирая платком лоб, усмехнулся дядя. — Это такой народ! Его колоти, а он все танцевать будет! Сойдем, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок — и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора — лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный

дом. За домом — зеленый откос, и на нем полиняла часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробьи.

— Стой здесь, — сбрасывая сумку, приказал дядя, — а я сейчас все узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котенка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки. Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

— Иди! — крикнул мне показавшийся из-за кустов дядя. — Все хорошо! Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем. Молоко пить будем. Аромат кругом… Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха со вздрагивающей го-

ловой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на черную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был ее сын.

— Дорогих гостей прошу пожаловать! — сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде. — Спаситель! Ах, спаситель! — сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди. — Полысел, потолстел, но все, как я вижу, по-прежнему добр и весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит… время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперед руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым ок-

ном шумели листья орешника, чирикали птахи.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И еще хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым, и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и сейчас чего-то не понимаю. А может быть, все, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковом. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, все оно и пойдет у нас по-хорошему.

Дядя дернул меня за нос и спросил, о чем я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черемуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался:

— Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский! В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену! Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А

ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошел к окну, сломал веточку черемухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я еще молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарлза Дарвина, Шекспира, Лермонтова и Демьяна Бедного. И когда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом и уж не помню, с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал, то он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут все, что попадет под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я видел в кино, они делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец „Елки-палки, лес густой“, как в „Путевке в жизнь“, или „Танго смерти“, как в картине „Шумит ночной Марсель“.

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил

молоко и любил простоквашу.

Дядя ушел в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан — там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка. Слазил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пылища, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за развалленной беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
Действительный статский советник и кавалер
ИОГАНН ГЕНРИХОВИЧ ШТОКК.

Тут же в крапиве валялся разбитый ящик и рассохшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол

дерева, за спинку скамейки, за подоконник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далеком и прекрасном краю человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то еще дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое. Мужской голос — ровный, приглушенный и женский — резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и ее бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом, прямые, неподвижные, и, глядя на закат, тихо пели: „Цветы бездумные, цветы осенние, о чем вы шепчетесь в пустом саду?…“



Я был удивлен. Я еще никогда не слыхал, чтобы такие древние старухи пели.

Правда, жила у нас во дворе дворникова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: „Ай, люли, ай, люли! Волки телку увели“, — но разве же это песня?

— Дитя! — позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

— Дитя, подойди сюда! — опять позвала старуха.

Я снова оглянулся — нет никого.

— Тут никого нет, — смущенно сказал я, вы-

совываясь из-за куста. — Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

— Кто — оно? Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошел.

— Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка.

— Хорошо, — согласился я, — только я не знаю, где у вас кухня.

— Как ты не знаешь, где у нас кухня? — строго спросила старуха. — Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню… на мороз, в степь… в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, по-видимому собираясь меня ударить.

— Мама, успокойтесь, — раздраженно сказал ее сын. — Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришел поздравить вас со днем ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала.

Вскрикнув, шарахнулся я прочь и помчался к дому. Взбежав по шаткой лесенке, я захлопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то

шел…

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец. Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

— Эй, там, Сергей! — услышал я знакомый голос. — Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

— Кроткая старуха, — сказал он, — осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжелая биография… Но ты ее испугался напрасно.

— Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

— Фантазия! — усмехнулся дядя. — Игра молодого воображения. Впрочем… всё потемки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто,

и сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

— Дядя, — спросил я, — отчего эта старуха называла вас днем и добрым и благородным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

— Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста, — ответил дядя. — А я был молод, великодушен и вступился.

— Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

— Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

— Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

— Дядя, — помолчав немного, не вытерпел я, — а какие это были солдаты? Белые?

— Лежи, болтун! — оборвал меня дядя. — Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова

и винтовка-трехлинейка с пятью патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

… Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит ее, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но и оставаться с дядей, который все время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слыхал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а потом, кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце мое болезненно и радостно сжалось. „За

что? — думал я. — И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?“

— А вы? — тихо спросил я. — Вы тоже будете жить в Одессе?

— Нет, — ответил дядя. — Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

„Не беда! — подумал я. — Ну, и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков, — вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!“

Щеки мои горели, и я был взволнован. „Проживу один, — думал я. — Начну все заново. Буду учиться. Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену черную форменку… Вот я стою на капитанском мостике. Дзинь, дзинь! Тихий ход вперед! Вот она, стоит на берегу и машет мне платком… Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все — приеду, тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок“.

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

— Но пока тебе будет скучно, — сказал дядя. — Несколько дней я буду занят. И чтобы ты мне не мешал, давай познакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье.

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуску и сами не давали.

— С кем же мне, дядя, познакомиться? — растерянно оглядываясь, спросил я. — Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдем! — ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на какой-то чертеж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим, — подтолкнул меня дядя. — Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.

— Дохловатый какой-то, — поморщился я. — Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козел тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь… изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?

— Слыхал, — буркнул я. — Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойди, пойди, познакомься, а я тут в тени газету почитаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу, и только тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, не сломай планку: она очень тонкая.

— Нет, — усмехнулся я, — не сломаю! Это ты что мастеришь? Трактор?

— О, что ты! — удивленно ответил мальчик. — Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

— „Тонкая“! „Тонкая“! — позабывая дядины наставления, передразнил я. — Ты бы лучше шел на сетку кверх ногами прыгать, а то все равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

— Послушай, — тихо сказал он. — Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, пойди и прыгай. — Он замолчал, сел, взял циркуль и, взглянув на мое покрасневшее лицо, добавил: — Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска все гуще и гуще заливала мне щеки, как будто я лицом попал в крапиву.

— Извини, — сказал я. — Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне все равно делать нечего.

Теперь смутился сероглазый мальчик.

— Почему же дурак? — запинаясь, возразил он. — Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот

квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Постой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой. — И он протянул мне затрепанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия — Грачковский. Он был мне ровесник.

Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошел дядя и протянул две плитки мороженого.

— Мы познакомились, — объяснил я. — Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолета на парашюте.

— Чаще меня зовут Славка, — поправил мальчик. — А с парашютом это я не сам прыгнул — меня отец выкинул. Я же только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

— Но она ходит?

— Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. — Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил: — Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набок мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

— Старый стрелок-пехотинец, — скромно ответил дядя. — Стрелял в Германскую, стрелял и в

Гражданскую.

„Эге, стрелок-пехотинец! — покосился я на дядю. — Так ты уже давно Славку приметил! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!“

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились назавтра встретиться здесь же.

— Вот человек! — похвалил дядя Славку. — Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к мачехе… в ящик… Ну, да ладно, ладно! Ты с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох!.. Вспышка голубого магния! Ты давай-ка с ним покрепче познакомься… Домой к нему зайди… Посмотришь, как он живет, чем в жизни занят, кто таковы его родители… Эх, — вздохнул дядя, — кабы нам да такую молодость! А то что?… Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слезы… Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

— Вот, — сказал он, — спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора — и ты в саду,

дома. Днем да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Посвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до развалленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. — Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая на сажень в сторону. — Я… я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица! — гневно гаркнул на меня бородатый. — Мы насилу ее поймали, и у меня дрожат руки.

— Нет, нет! — еще не оправившись от испуга, бормотал я. — И курице не могу… Никому не могу… Вы погодите… Вот придет дядя, он все может.

Я пробрался к себе и лег на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами

города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь все было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай — стекла выбиты, жертв нет. „Не зевай, шофер, счастливо еще отделался!“

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. „Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать дёру“.

А вот объявление: какой-то дяденька продает велосипед, он же купит заграничную шляпу. „Глупо! Я бы никогда не продал. Черта ли толку в шляпе да без велосипеда?“ А вот… стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот… ищут меня… „Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон Г 0-48-64“.

„Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит, ищет милиция“.

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. „Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка“.

„Разыскивается…“ Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: „Ищите! Ищите!.. Задержите!“ Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. „Да, — говорят они, — товарищ начальник! Мы найдем гражданина Сергея Щербачова, четырнадцати лет, брюнета с родинкой, — того, что выламывает ящики и продает старьевщикам чужие вещи. Он, вероятно, живет в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда, вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже“.

Я швырнул зеркало и газету. Да! Все именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в испра-

вительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за свое счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу.

Постовые милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой — все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасливо поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик „Хлородонта“ и поспешно вышел.

Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел.

— Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик? — равнодушно спросил парикмахер.

— Нет, — сказал я. — Бритвой снимайте наголо.

Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело…

Уши теперь торчали, и голова стала круглой.

На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

„Никто теперь меня не узнает и не поймает, — думал я. — Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было“.

Влажный ветерок холодил мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны — значит, дядя еще не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо,

чтобы не разбудить внизу хозяев, подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро.

Так я просидел с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело — курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует — что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени.

Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое?... Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез — там, далеко, в Липецке, — а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело.

Тихонько поднялся я наверх — и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома.

Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

— Вот, — говорил дядя, — сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

— Понятно!

Куда „туда“ и куда „сюда“ — мне это было совсем непонятно.

— Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

— Вернется! Или немного заблудился. А то еще в кино пошел. Нынче дети какие! А мать у него

кто?

— Мачеха! — ответил дядя. — Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека напали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

„Как — кто ее знает?! — ахнул я. — Ведь ты же мой дядя!“

— Ну, и последнее готово! Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.

— Это ты, бродяга? Наконец-то! — раздался сверху дядин голос.

— Да, я.

— Тогда погоди, штаны да туфли надену, а то я прямо с постели.

Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

— Ты что же полуночничаешь? Где шатался?

— Я вышел погулять… Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шел, да

и немного заблудился.

— Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? — проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не будет и, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах — не то эфира, не то еще какой-то дряни. „Очевидно, — подумал я, — дядя опять какое-то лекарство пролил… Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!“

Тогда, осененный новой догадкой, я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых.

„А может быть, — думал я, — дядя мой совсем

и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик. Никто не признает его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается. Но… Я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно… Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый.

„Ты, — говорит, — погоди… Я только что с постели“. Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!“

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашел Славкин отец, тоже худой, белокурый человек с тремя шпалами в петлицах.

Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато

и быстро выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора.



С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно

прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвистывая, быстро пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек.

— Догадливый! — сказал я. — Только подошел, глянул — крак! — и выломал.

— Еще бы не догадливый! — спокойно ответил Славка. — Такая уж у него работа.

— Он военный инженер? Он что строит?

— Разное, — уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил: — Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

— Какой?

— Да вот какой! — смеется и язык высунул… Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

— У меня дядя… — запнулся я. — Он, кажется, ученый… химик…

— А отец?

— А отец… отец… Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам ее каблуком в песок затоптал — и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку

пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым, — язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой — в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка — старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру. Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причем Славка

— нет, чтобы за меня заступиться, — сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже полинявшие, потертые, они рассказывали о далеких днях Гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава — черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папахи, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: „Смерть шахтер-комиссара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом“. И еще помельче: „Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.“.

— Это очень редкая открытка, — бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка. — Их всего-то, может, и было напечатано штук двести-триста. Ну и вот эта тоже попадается не часто. Тут, смотри, со стихами: „Гей, гей! Не робей!“ Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов… Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал,

должно быть. А на небе тучи… тучи… А это просто так… девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повырастали. У мамы подруга есть, Комкова Клавдюшка, тоже там была… Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли… Э-э, брат! Погоди, погоди! — рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало. — А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

— Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

— Это ты! — подвигая мне зеркало, обрадовался Славка. — Ну посмотри, до чего похоже! Я еще когда тебя в первый раз увидел — на кого, думаю, он так похож? Ну, конечно, ты! Вот нос… вот и уши немного оттопырены. Возьми! — сказал он, доставая из гнезда открытку. — У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под

их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята.

— Славка, — осторожно спросил я, — а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?

— Вылечат! — щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка. — Ну, куда, дурак? Чего кричишь? — Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи. — Туда иди. Вон твоя компания. — Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил: — Нога — это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы… все…

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди, — упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза. — Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

— Возьми, — сказал я. — Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

— Но то — пустяк, — возразил Славка. — У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет!

— Все равно бери! — твердо сказал я. — Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

— Хорошо, я возьму, — согласился Славка. — Спасибо. Только сигналист пусть в счет не идет. Но у меня есть карманный фонарь с тремя огнями — белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже… — Он подумал. — Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабке, а она — тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь!

Я дал.

— Так ты уезжаешь? — пожалел я. — Далеко? Надолго?

— Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдем к бабке на кухню.

— Бабушка, — сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож. — Вот, мне подарили. Хорош ножик? Острый!

— Выкинь, Славушка! — посоветовала старуха. — Куда тебе такой страшенный? Еще

зарежешься.

— Ты уж старая, — обиделся Славка, — и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даешь! Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я еще тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

— Да запомню, запомню, — ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха. — Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

— Только не меня! — испугался я. — Это его… я уже кормленный…

— Ладно, ладно! — отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал: — Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

— Врешь, врешь! Все будешь, — ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила: — Кабы тебя, милый мой, с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает „не буду“!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два

дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку прийти не обещался.

… Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распахнутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Выходило совсем неплохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц,

как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы, — вероятно, оттого, что в сыром, темном погребе я стукнулся лбом о подпорку, — вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листиков и стал переписывать. Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо. Она приказала мне лезть в погреб и достать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блин-

чиков, которых, конечно, дядя захочет поесть вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твердо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивленный и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать… Распахнул дверь коридора. Нету!

И я решил, что, должно быть, в мое отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котенка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад. Вздохнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

„Вот, — думал я, — клюнет, подпрыгнет, посмотрит, опять клюнет, опять посмотрит… Ну что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Ну хочешь? Слушай!“

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, как сухой белый лед, не оставляя на этой колдовской бумаге

ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь? — тихо и злобно спросил он. — Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозленный, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там. — И я ткнул пальцем на кровать.

— „Там, там“! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лазить?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо? — крикнул я. — Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трех листочков бумаги, а когда в вагонах… так чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву…

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

— Послушай, друг мой, — услышал я над собой его голос. — Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста… — Тут голос его опять стал раздраженным, — что означают все эти твои фокусы?

Я недоуменно обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

— Но, дядя, — пробормотал я, — честное слово… я больше ничего…

— Хорошо „ничего“! Я пошел утром переменить брюки, смотрю — и на подтяжках, да и внизу, — ни одной пуговицы! Что это все значит?

— Но, дядя, — пожал я плечами, — для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так… дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

— Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по-твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

— Это старуха срезала, — подумав немного, сказал я. — Это ее рук дело. Она, дядя, всегда придет к вам в комнату, меня выгонит, а сама все что-то роется, роется… Недавно я сам видел, как она

какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

— Какую еще коробочку? — встревожился дядя. — У меня, кажется, никакой коробочки… Ах, цветок бездумный и безмозглый! — спохватился дядя. — Это она у меня мыльный порошок для бритья вытянула. А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы… Но ты когда увидишь ее у нас в комнате, то гони в шею.

— Нет, дядя, — отказался я. — Я ее не буду гнать в шею. Я ее и сам-то боюсь. То она меня зовет Антипкой, то Степкой, а чуть что — замахивается палкой. Вы лучше ей сами скажите. Да вон она возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам ее сейчас кликну?

— Постой! Постой! — остановил меня дядя. — Я лучше потом… Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провел время у Славки, как он подарил мне сигналиста, пожалел, что через три дня Славку отец увезет к матери.

Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

— Ты хороший мальчик! — похвалил меня дядя. — С первой же минуты, как только я тебя

увидел, я сразу понял: „Вот хороший, умный мальчик. И я постараюсь сделать из него настоящего человека“. Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы — мой друг. Помощник по учебной части — тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое… то есть, гм… кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным, но все, что я делаю, это только во имя… и вообще для блага… Помнишь, как у Некрасова: „Вырастешь, Саша, узнаешь…“

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а вы не изобретатель?

— Тсс… — приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя. — Об этом пока не будем… ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушел.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось: в парк он больше не приходил.

Бегая днем по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города — Херсон, Николаев, Тирасполь, слева — захваченная румынами страна Бессарабия, справа — цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко — до Кавказа, до Турции, до Болгарии — раскинулось Черное море…

… И волны бушуют вдали…
Товарищ, мы едем далёко,
Далёко от здешней земли.

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас.

Кто его знает, когда еще он должен был мне пригодиться. Но когда в руках компас, тогда все моря, океаны, бухты, проливы, заливы, гавани получают свои очертания.

Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и Север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале, работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока… Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином

не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за „хвосты“ по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот, я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что, как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зо-

вет:

— Мальчик, пойди-ка сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

„Г 0-48-64!“ — вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурок к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

„Нет, — с ужасом подумал я, — бежать поздно! Вот она и расплата!“

— Мальчик! — повторил милиционер. — Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел.

— Да, — сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе. — Да! Я вас слушаю!..

— Мальчик, — сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый, — будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все. Как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слезы катились, падали на осыпанные известкой сандалии, и мне становилось легче. Кто-то тронул меня за руку.

— Мальчик, — участливо спросила меня молодая незнакомая женщина, — ты о чем плачешь? Тебя обидели?

— Нет, — вытирая слезы, ответил я, — я сам себя обидел.

Она улыбнулась и взяла меня за руку.

— Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье мое было уже недалеко…

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидал у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я скользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем еще недавно. Полотенце было сырое — не просохло. На подоконнике валялся только один окурок,

а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялась дядина кепка и мятая газета. Вот и все! Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл: орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, значок члена Крым-ЦИК, иголка, катушка ниток, пузырек с валерьяновыми каплями. Еще носки, носки… А это?

И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

„Что же делать? А что делается сейчас

дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентининому мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее“.

Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя — они всё еще сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой — свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него,

улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевок с пола вытерла. „Ах ты, старая карга! — рассердился я. — А я-то этим полотенцем лицо вытираю!“

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку — я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки, — спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Подержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился. Вылез через дыру. Прошмыгнул кругом вдоль

забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая: „По военной дороге шел в борьбе и тревоге…“, — распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова.

Подошел, поздоровался и показал компас.

— Дядя, — сказал я, — посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо! Дитя капитана Гранта! — похвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе. — Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

— Ты должен быть терпелив, — сказал дядя. — Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане… Впрочем, расска-

жу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

— Домой торопился, — объяснил я. — Думал, как бы не опоздать к обеду.

— Нас сегодня старик Яков угощает, — сообщил дядя. — Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнешь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

… Не прошло и трех минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

— Сергей! — закричал он. — Не видел ли ты здесь старуху?

— А она, дядечка, на заднем дворике голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовет? „Гули, гули!“

— „Гули, гули“! — хрипло зарычал старик Яков. — Я вот ей покажу „гули, гули“!

— Только ласково! Только ласково! — предупредил на ходу дядя. — Тогда мы сейчас же… Мы это разом…

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин.

— Только тише! Только ласково! — оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки.

— Добрый день, хорошая погода! — торопливо заговорил дядя. — Птица-голубь — дар Божий. Послушайте, мамаша, это вы сейчас принесли в комнату разные… цветочки, василечки, лютики?

— Для своих друзей, — начала было старуха, — для хороших людей… Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

— Отдай добром, дура! — заорал вдруг старик Яков. — Не то тебе хуже будет!

— Только ласково! Только ласково! — загремел на Якова дядя. — Послушайте, дорогая, отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные… Ну что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу… Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено… Да затвори, Яков, калитку! Кого еще там черт несет?!



Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело.

— Мама, отдайте! — строго сказал ее сын. — Зачем вы это сделали?

— Но на память! — жалобно завопила старуха. — Я только хотела на добрую, дорогую память!

— На память! — взбесился тогда не вытерпевший дядя. — Хватайте ее! Берите!.. Вон он лежит у нее в кармане!

— Нате! Подавитесь! — вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку.

— Это моя подвязка! — торжественно сказал старик Яков. — Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было.

Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись… Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного. И тогда, охрипшие, обозленные, дядя и Яков пошли одеваться. Старик Яков переменил взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи; у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекатывались и играли под кожей мускулы.

„Да, этот кривоногий дуб еще пошумит! — подумал я. — А ведь когда он оденется, согнется, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!“

Перед тем как нам уже уходить на пристань,

подошел старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг…

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

— Ба! — удивленно воскликнул он. — Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!

— Разве тебе ехать в эту сторону? — бросаясь к Славке, спросил я.

— Я же тебе говорил, что вверх, — ответил Слав-

ка. — Ну-ка, посмотри, вода течет откуда?... А ты куда? До Чернигова?

— Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

— Жаль! А то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

— Глядите, — остановил нас дядя. — Вон на воде какая комедия!

Крохотный сердитый пароходишко, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза.

„Сидишь, сыч, а свету боишься“, — подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.

— Так не забудь зайти за фонарем, — напомнил он. — Отец вернется завтра обязательно.

— Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

— И ты тоже! Гей, папа! Я здесь! — крикнул он

и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве „стол находок".

В Москве из такого „стола" Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами.

„Киев, — думал я, — город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало".

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот „стол находок", я суну в окошечко сверток. „Вот, — скажу, — посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда". И сейчас же удалюсь прочь.

Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось, — это то, что „стол" оказался при управлении милиции.

Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

— Итак, — спрашивал милиционер востроносого и рыжеусого человека, — ваше имя — Павло Федоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцать, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

— Так точно, — ответил рыжеусый. — Я как был вчера выпивши, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять… этого самого…

— Это к факту не относится, — перебил его милиционер. — Получите квиток и расписывайтесь.

— Это я распишусь — отчего же! Гляжу я… Мать честная! Лежит она, самая калоша… сияет. Я искал, искал — другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял ее свой же

брат, труженик.

— Одна! — сурово заметил милиционер. — Кабы и пара, все равно снесть надо. Этакое глупое у вас разумение… Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

— Я человек честный, — пряча квитанцию, бормотал рыжеусый. — Мне не то что две… три нашел, и то снес бы. Да кака така нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога… в самый раз… аккуратная. А это что же? На столбы обувка?…

Пошатываясь, он пошел к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

„Нет, — думал я, — если из-за одной калоши тут столько расспросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться“.

Опечаленный, вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

— Не приезжал отец! — сказала она. — И то три раза из управления звонили да два раза с завода… Ну вот, слышите? Опять звонят. — И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

— Чистая напасть! — вздохнула она, вернув-

шись. — Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу… Так не дадут дня человеку побыть с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?… Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения. И цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошел шататься по соседним уличкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил протянутую мне бумажку.

… Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать и, вероятно, целый час просидел на каменной ступеньке какой-то сырой подворотни. И мне тогда хотелось, чтобы дядю

этого убило громом или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадеживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме: в открытом море матросы ведь не выбросят… Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят… Вздор! Мысли путались.

Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку:

— Ты чего кричишь? Ляг, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрел куда-то. Щеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. „Тиль-тиль, тир-люли!“ И я опять вспоминаю: отец и я. Он поет:

Между небом и землей
Жаворонок вьется…

«Папа, — говорю ему я, — это замечательная песня. Но это же, право, не солдатская!» —

«Как не солдатская? — И он хмурится. — Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь… Боя еще нет. А он сверху: „Тиль-тиль, тир-люли, тир-люли!..“ Спокойно кругом, тихо… И вот тебе кажется: я лежу с винтовкой… А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну что? Теперь понял?» — «Да, да! Понял!»

Кто-то быстро тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

— Мальчик, — спросил он, показывая на калитку, — ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

— Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь! — с досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Потом, скоро, издалека напишу я Славке письмо.

Что-то вокруг странно все, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашел! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при

прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти:

Г 0-48-64.

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся, и в газете телефон записан совсем не этот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина? — тихо переспросила она, и губы ее задергались. — Ах, что мне машина! Я и сама уже все знаю.

Я взглянул на нее и ужаснулся: глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой

узнавать всю правду.

Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

— Убийцы! — прошептал я помертвевшими губами. — Вы сбросите меня под колеса поезда, и плыви тогда капитан в далекую Индию… Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди познакомься, — вспомнил я разговор в парке, — он мальчик, кажется, хороший». Бандиты, — с ужасом понял я, — а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина. Жадно пил.

Г 0-48-64.

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лег. Лежал. Сон не сон. Полудрема.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. „Скушай колбасы, булку“… „Кругом

аромат, цветы, природа“... А праздник — веселое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии?... Не для вас же — чтобы вы сдохли!» — плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

— Но то в Москве, а это Киев, — ответил мне удивленный голос. — Даю вам междугородную.

Опять голос:

— Слушает междугородная!

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре, — все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

— Москва занята, — певуче ответил телефон. — Наш лимит еще тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку.

Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомнился и сразу к телефону.

Голос. Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остается пять минут.

Стало легче.

И вдруг — на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Голос дяди. А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка!

Яков. Черт с ним! Надо бы торопиться.

Дядя (*ругательство*). Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Яков (*ругательство*). Вот еще бестолковый дьявол! (*Ругательство, еще и еще ругательство.*)

Звонок по телефону. Я замер.

Яков. Не подходи!

Дядя. Нет, почему же? (*В трубку.*) Да! (*Удивленно.*) Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. (*Трубка повешена.*) Черт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва»!

Опять звонок.

Дядя. Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам

говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?... (*Трубка брошена. Торопливо.*) Это что-то не то! Это, это... Давай собирайся, Яков!

«Они сейчас уйдут! — понял я. — Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

> «Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? — строго спросил меня кто-то изнутри. — А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! — повторил мне тот же голос. — Выпрямляйся, пока не поздно».

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку, — виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо — за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе… Она из окошка показывает им язык. Остановились… Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку — через улицу, и направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолет, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой — Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперек песчаной дороги

глубокая пропасть — разом остановились оба изумленных друга.



Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть!

С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий… Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.

… Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра.

И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог

прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду! (Много-много, целую большую плавучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) И быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!..»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу…

… Сколько времени все это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок — белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролет окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо — голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всем я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени, потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике,

возле букета синих васильков, полное блюдце ярко-красной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что еще недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зеленая.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под легкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное мое движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

— Ну что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

— Я где? — спросил я. — Это какой город?

— Это не город. Это Ирпень! — И так как я не понял, она быстро повторила: — Это Ирпень — дачное такое место недалеко от Киева.

— Ах, от Киева?

И я все вспомнил.

Прошла еще неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я еще только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной

форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

— Юрка?... Это был мелкий мошенник.

— А тот... артист?... Ну, что сошел с поезда в Серпухове?

— Это был крупный наводчик-вор.

— А старик Яков?

— Он был не старик, а просто старый бандит.

— А он... Ну, который дядя?

— Шпион, — коротко ответил военный.

— Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

— Ну, вот видишь? Так со ступеньки на ступеньку и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?

Это меня задело.

— Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

— Когда: теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало, обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок:

— Не узнаёшь?

Еще бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он — ишь ты как улыбается! — дядя. А вот он выпучил глаза — старик Яков.

— Так вы еще в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

— Да, мы давно обо всем догадались. Но вас разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.

Это ты сочинил?

— Да, — сознался я. — Но скажите: что это за листы? И еще скажите: что это были за склянки?... И почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик, — ответил он, — ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо, — согласился я. — Но я уже и сам догадываюсь: это, наверно, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно, — сказал я. — Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он. — Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм… гм… — Он посмотрел на часы. — Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да. — Он остановился и улыбнулся. — Нет. — И он опять улыбнулся. — Нет, нет! Скоро все сам узнаешь.

У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его темной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червем или склюнутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и был спокоен. Но стоило мне поднять голову — и когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля; когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки,

леса, рощи; когда я видел, что мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуху. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, еще когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся:

— Я все знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлет привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

— Кто?

— Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговаривал! Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошел он на Днепр купаться — бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие — еще в двадцать четвертом ему на работе подарили. Они и стали. Отнес — починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. «Это, — говорит, — я все распутывал ваши дела, заработался… Вот тебе и прыгнул!..» Послушай! Вот я тебе привезу фона-

рик. Мое слово твердо.

— Славка, — настойчиво спросил я, — зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

— Видишь ли, когда вы… — тут Славка покраснел и быстро поправился, — то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли… Ну, они рассердились…

— Славка, — еще упрямей повторил я, — ну, не нашли, но зачем же все-таки они хотели убить твоего отца?

— Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной… Ну а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял… Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипники. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд… Я все слушал, слушал — да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так

вот, с той поры я уж его и сам ни о чем не спрашиваю. Нельзя! — вздохнул Славка. — Не наше пока это дело.

— Их посадили? — угрюмо спросил я.

— Кого — их?

— Ну, этих, который дядя и Яков.

— Но ты же… ты же убил Якова, — пробормотал Славка и, по-видимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

— Разве?!

— Ну да! — быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул, а не то чтобы упасть в обморок. — Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружен и от калитки и от забора — их уже выследили. Тебе бы еще подождать две-три минуты, так их все равно бы захватили!

— Вон что! Значит, выходит, что и стрелял-то я напрасно!

— Ничего не выходит! — вступился Славка. — Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Все выходит, что очень даже не напрасно. Да! — И Славка, смущенно пожав плечами, протянул мне завернутый в салфетку узелок, от которого еще за пять шагов пахло теплыми плюшками да ватрушками. — Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она

слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Все еще чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

… Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза поднять от земли к широкому горизонту боялся. Знал, что все равно налетит сразу, навалится и задавит тоска.

… Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно: зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею в то время, когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

— Ну вот и хорошо! Ну вот и хорошо! — шепнула она, не вытерпев. — Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?... Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из еще не окрепшего горла. Я кинулся вперед и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустился на ступеньки.

По песчаной дорожке шел доктор, а рядом с ним — мой отец. Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерьянкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

— Ну можно ли так кричать? — укорил меня доктор. — Ты бы вскрикнул шепотом, потихоньку... Горло-то у тебя еще слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я еще ничему не верю.

И я ему говорю:

— Это ты?

— Да, я!

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, легкая седина. Черная гимнастерка, галифе, сапоги. Да, это он! И я осторожно спрашиваю:

— Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись

— вот так, по-своему, как никто, а только он — правым уголком рта, — отвечает:

— Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили…

— И теперь ты…

— И теперь я совсем свободен.

— И тебя выпустили так задолго раньше срока? — бормочу я.

— Я взрывал землю, — настойчиво повторяет отец. — Верно! Я старый командир, сапер. Я был на Германской с четырнадцатого и на Гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) — И доканчивает: — Но и она мне, земля, кое-что вдолбила в голову крепко!



Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

— Это что?

Он треплет меня по плечу:

— Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили ее свернуть в сторону.

— И ты был…

— А я был бригадиром подрывной бригады.

… Вот и все! Нет, не все. Теперь мой черед. Теперь должен говорить я. Все вспоминать и объяснять, издалека, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

— Ты уж молчи! Я все сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами все знают и все понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется ее поцеловать. Но он тихонько ее выдергивает и крепко жмет мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

— Папа! А где ты теперь живешь?…

— У Платона Половцева. Он пока уступил мне одну комнату. А дальше будет видно. Теперь мы не пропадем.

— Г 0-48-64! Так это ты меня искал? Так вот он откуда, загадочный московский телефон!

— Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.

Я отталкиваю его руку и поднимаю с подушки голову:

— Ты пусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понято. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

— Папа, а все-таки «Жаворонок» — это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

— А какая же?

— Да так! Просто человеческая.

— Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамен Красной Армии, и поэтому все, что ни есть на свете хорошего, это у него — солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всем будут равны. Но Крас-

ная Армия останется еще надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко — человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки. С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонек от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живет сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку.

Но что ни мгновение, огней зажигается все больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно… Да и не нужно!

Самолет опустился на землю. Взявшись за руки, они вышли и остановились, щурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти — отец и сын — крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встречали, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

— Здравствуйте!

1938 г.

